

Максим Горький

В ущелье



Максим Горький

В ущелье

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=637045

Аннотация

«В горном ущелье, над маленькой речкой – притоком Сунжи – выстроили рабочий барак, – низенький и длинный, он напоминает крышку большого гроба.

Он ещё не закончен; десяток плотников возится около него, сшивая из тонкого тёса жиденькие двери, сколачивая столы, скамьи, прилаживая рамы в пустые квадраты маленьких окон...»

Максим Горький

В ущелье

В горном ущелье, над маленькой речкой – притоком Сунжи – выстроили рабочий барак, – низенький и длинный, он напоминает крышку большого гроба.

Он ещё не закончен; десяток плотников возится около него, сшивая из тонкого тёса жиденькие двери, сколачивая столы, скамьи, прилаживая рамы в пустые квадраты маленьких окон.

В помощь плотникам и для охраны барака ночами от вороватых горцев молодой, крикливый студент-путеец, заведующий постройкой, прислал в ущелье троих сторожей: отставного солдата Павла Ивановича, меня и ещё какого-то вихрастого человека с казачьим лицом.

Мы трое – люди «худые», а плотники – солидны, сыты, все в крепкой одежде, все – пожилые, и есть в них что-то общее, тяжёлое – кабанье. Они не ответили на приветствие наше, смотрят на нас неласково, подозрительно, и мы, обиженные холодной встречей, держимся в стороне от них: набросали в узкую речку камней и, устроив брод, перешли на другой берег, на солнце, в хаос серых обломков горы.

Старшой у плотников – костлявый старичок, в белой рубахе и штанах. Точно к смерти оделся. Он ходит без шапки, у него жёлтая – во всю голову – лысина, широкий, серый нос;

старая кожа на лице и шее ноздревата, как пемза, глаза мутнозелёны. Но за тёмными губами – плотный ряд мелких зубов, серые волосы бороды, подстриженной по-татарски, густы и, видимо, мягки. Он не работает, а всё время неугомымо ходит около барака по золотой стружке, заткнув за пояс очень отогнутые большие пальцы рук. Измеряя барак, людей, работу неподвижным взглядом немых глаз, он поёт гнусаво, подхалимисто, но внятно:

Боже, боже, мой отец!
Дал ты тяжкий мне венец!
Буду я тебя просить:
Как же мне его сносить?

Нам делать нечего, и мои товарищи маются-страдают в скуке безделья; один полез зачем-то на гору, слышно, как он там посвистывает и ломает тяжёлыми ногами сухие ветви. Солдат устроил в щели, между камней, пышное ложе из мелких веток, лежит на животе и непрерывно курит крепкий горский табак из хорошей фарфоровой трубки, мутносонными глазами поглядывая на игру реки.

Я сию над рекою на камне, опустив в холодную воду ступни ног, зашивая рубаху.

Гулкое эхо тревожно носит по ущелью чужие ему звуки: хряские удары топоров, плач пилы, всхлипывание рубанка, говор людей.

Из туманно-сизой глубины ущелья тянет сыроватый ве-

тер, на горе за бараком тихонько шумят стройные лиственницы.

С высоты густо льётся пьяный, жирный запах гниющей хвои, смолы, прелой земли, там, в тихой мгле, всё время неясно звучит мягкий, усыпляющий шопот.

На сажень ниже барака бежит по камню, торопливо и звонко, пенно-белая река, звуков – немного, но кажется, что всё вокруг поёт и говорит, заставляя людей молчать.

Наш склон залит солнцем, всё выгорело на нём, он покрыт золотисто-рыжей парчой и дышит сладким запахом иссохших трав. Из тёмных щелей между камнями огненными копьями напряжённо поднялись на длинных стеблях красные конусы странных цветов, – это бесстыдные цветы упрямого растения, которое зовут каменоломкой. Глядя на них, хочется громко петь, телом овладевает сладкая истома.

Хороша река, – вся в трепетном кружеве снежной пены, она бежит, играя, по цветным камням, округлённым ею, камни шелковисто просвечивают сквозь янтарное, на солнце, стекло воды, точно пёстрый ковер или дорогая шаль из Кашмира.

Устье ущелья выходит в долину Сунжи, там строят железную дорогу на Каспий, в Петровск; оттуда врывается в горы глухой гул, точно выстрелы из пушек, лязг железа о камень, свист рабочего паровоза, сердитые крики людей.

До выхода в долину не больше ста шагов, и когда, выйдя, взглянешь влево – видно ровную степь Предкавказья, ограж-

дённую стеною синих гор, над ними – среброкованное седло Эльбруса. Степь почти вся в сухом жёлтом свете, она кажется песчаной, кое-где среди неё вспухли сады, и от их тёмных пятен жёлтый свет ещё горячий. Кусками сала или сахара разбросаны белые хаты хуторов, около них чёрные тополя, игрушечные люди, чуть передвигаются маленькие воли, и всё тает в струях знойного марева.

Степь точно шелками вышита; когда смотришь на неё и в синеву над нею – невольно, сами собою напрягаются мускулы, хочется встать и, закрыв глаза, – идти, без конца идти, с тихой, о чём-то грустном, песней на устах.

С правой руки – извилистая долина Сунжи, снова горы, синее небо над ними, сизая мгла во впадинах гор и неугомонный шум работы – глухие выстрелы, мощные взрывы освобождённой силы.

Но – пройдёт минута, эхо нашего ущелья спрячет все звуки в лесу и морщинах камней – снова ущелье тихо и ласково поёт свою песню.

Если смотреть в его глубину, оно, суживаясь, поднимается всё выше в сизый туман; туман, густея, закрывает его синим занавесом, а ещё выше, под самым небом, тоже синим, тает-плавится на невидимом солнце ледяная вершина Карадага, а над нею – светлая, непоколебимая тишина небес.

Преобладает сизовато-синий странный цвет, и, должно быть, от него всё время волнует душу незнакомое ещё беспокойство, что-то неясное тревожит сердце, горит в нём пья-

ным пламенем, будит непонятные мысли и куда-то зовёт.

Старик в белом смотрит из-под руки в нашу сторону и тянет, скрипит надоедно:

Ай, – кто по лево стороне,
Идёт прямо сатане.
Кто ж по право стороне,
У того финик в руке...

– На-ко вот, – слышал? – сквозь зубы говорит солдат. – Финик, чу... Мнеманит, видать, а то – молокан. Хоша – это всё едино у них, разобрать нельзя. Баловники. Финик!..

Мне понятно раздражение солдата, – назойливое, одно-тонное пение старика не к месту здесь, где всё поёт само для себя так славно, что не хочется слышать ничего, кроме мягкого шороха леса, звона реки. Но особенно неуместными кажутся слова: финик, менонит...

Солдат не нравится мне, он тоже чему-то мешает. Это человек средних лет, коренастый, квадратный, обесцвеченный солнцем. Его полинявшие глаза смотрят с плоского лица невесело, смущённо. Нельзя понять – что он любит, чего ищет? Обойдя весь Кавказ кругом от Хасав-Юрта до Новороссийска и от Батума до Дербента, трижды перевалив через хребет по Грузинской, Осетинской дорогам и по Дагестану, он говорит, неодобрительно усмехаясь:

– Нагромоздил господь...

– Не нравится?

– Да – на что это? Лишнее всё...

Медленно ворочая жилистой шеей, он оглядывается, добавляя:

– И леса не такие.

Калужанин, он служил в Ташкенте, дрался с текинцами, был ранен камнем в голову, – рассказывает он об этом, виновато усмехаясь, опустив стеклянные глаза:

– Досадно сказать – баба меня тяпнула, – там, брат, у них и бабы воюют завсяко-просто, не то ли что! Деревня эта ихняя – Ахал-Тяпа – взята была, перекололи их невесть числа сколько, прямо – гроздьями лежат, кровища везде – идти мокро! Ну, и мы, – наша рота, – лезерв, тоже входим в улицу, вдруг как меня хватит по башке! Оказалось – баба с крыши камнем. Сейчас её прикололи...

Он нахмурился и строго сказал:

– А что бабы у них бреются – это враки. Я – глядел: приподнимешь штыком подол у которой убитой – всё как следует. Баба, всё больше, – сухая и хоша козлом пахнет, ну – ничего всё-таки...

– Страшно на войне?

– Не знаю. Другие, которые в сражениях бывали, говорят – страшно. Текинец – злой очень и – не даётся. Ну, я этого тоже не знаю, я всё в лезерве был, наша рота в самую штурму не ходила, а, лёжа на песочке, издаля пуцала. В лезерве – не страшно, а просто – тяжело очень. Там – сплошь песок, и – нельзя понять, из-за чего драка затеялась? Диви бы хоро-

шая земля, ну, тогда, конечно, есть интерес отнять. А то – голым-голо! Рек – тоже не полагается, а – жарыща, и до смерти пить охота. Многие даже и помирали от жадьбы к воде. Растёт там, братец мой, вроде проса, называется – джугара, пища противная на вкус и обманная, – сколько хочешь ешь, сыт не будешь.

Рассказывает он нудно и бесцветно, с большими паузами, как будто ему тяжело вспоминать пережитое или он думает всегда не о том, что говорит. И, рассказывая, он никогда не смотрит в лицо собеседника – глаза его виновато опущены.

Тяжёлый, нездорово полный, он весь налит каким-то мутным недовольством, ленивым отрицанием.

– Это всё земли неудобные для жилья, – говорит он, оглядываясь вокруг, – это для безделья земли. Тут и делать ничего не охота, просто – живёшь разинув глаза, вроде пьяного. Жара. Духи-запахи, всё одно как аптека або – лазарет...

В этой жаре он, как очарованный, бродит, кружится восьмой год.

– Ты бы шёл домой, в Рязань, – сказал я ему однажды.

– Ну, там делать мне тоже нечего осталось, – странно составляя слова, сказал он сквозь зубы.

Я заметил его в Армавире, на станции, где он, багровый с натуги, дико вытаращив глаза, топал ногами, как лошадь, и, взвизгивая, орал на двух греков:

– Рёбра вырву с мясом!

Тощие, копчёные, лохматые греки, оба на одно лицо, ис-

пуганно оскаливая белые, острые зубы, уговаривали его:

– Зито грисите?

Он бил себя кулаком в грудь, как в барабан, не слушая их, кричал всё яростней:

– Вы – где живёте? В России? Кто вас кормит? Россия, сказано, – матушка! А вы – что говорите?

Потом он стоял рядом с толстым седым жандармом в медалях и уныло жаловался ему:

– Все нас, земляк, ругают, а все лезут к нам, – греки эти, немцы, серба всякая! Живут, пьют-едят, а ругают! Ну – не досада?

Третий из нас был человек лет за тридцать, в казачьей фуражке и с казачьим вихром над левым ухом, круглолицый, большеносый, с тёмными усами на вздёрнутой губе. Когда суетливый студент подвёл его к нам и сказал: «Вот ещё этот с нами», – он взглянул на меня сквозь ресницы быстрым взглядом неуловимых глаз и сунул руки в карманы гурийских шаровар, с широкой мотнёй; а когда мы пошли, он, вынув левую руку, медленно провёл ею по тёмной щетине небритого лица и спросил звучно:

– Из России?

Ну, а то откуда? – недружелюбно молвил солдат.

Человек молча закрутил правый ус и спрятал руку. Широкоплечий, сложенный ладно, он был, видимо, очень силен; шагал широко и легко, как человек, привыкший преодолевать большие расстояния, но ни котомки, ни узелка не бы-

ло у него. Брезгливо вздёрнутая губа его и глаза, прикрытые ресницами, стесняли меня, настраивая подозрительно, почти враждебно.

Но в ущелье, идя впереди нас по каменной тропе, вдоль речки, он вдруг обернулся к нам и, кивнув головой на весёлую игру воды в реке, сказал:

– Сваха!

Солдат, приподняв белесые брови, подумал, поглядел вокруг, потом шепнул:

– Дурак!

А мне показалось, что человек сказал верно: эта бойкая, гибкая речка очень напомнила болтливую, весёлую бабёнку, которой нравится устраивать любовные дела, не только ради своих выгод, а больше для того, чтоб люди поскорей узнали великие радости любви, которыми она живёт не уставая и весело торопит всех приобщиться к ним.

Придя к бараку, человек с казачьим лицом снова поглядел на реку, на горы, в небо и всё одобрил сочным, круглым словом:

– Славно!

Солдат, сняв со спины тяжёлую котомку, выпрямился и спросил, упёршись руками в бока:

– Что – славно?

Тот посмотрел на широкую фигуру, обвешанную серыми лохмотьями, точно камень мохом, усмехнулся, говоря:

– А ты не видишь? Гора, в горе – дыра, – али плохо?

Он отошёл прочь, а солдат, глядя в спину ему, снова шепнул:

– Совсем дурак...

И громко, мрачно выговорил:

– Лихорадки, наверно, живут здесь здоровенные...

Под вечер две дородные бабы принесли плотникам ужин, шум работы тотчас оборвался, шорох леса и говор воды стали звучней.

Солдат, не торопясь и побрякивая, собрал большую кучу ветвей и щепы, зажёл небольшой костёр и, аккуратно прилаживая чайник над огнём, посоветовал мне:

– Ты бы тоже пособирал дров на ночь. Ночи здесь холодные, чёрные.

Собирая щепу, я наткнулся в камнях около барака на вихрастого человека: опёршись на локоть, поддерживая голову ладонью, он читал лежавший на земле большой лист крупно исписанной бумаги. Подняв на меня широко открытые глаза, он задумчиво и вопросительно взглянул в лицо мне, – один глаз у него был больше, другой – меньше.

Он, должно быть, понял, что интересуется меня, улыбнулся, но я прошёл мимо его, смущённый этой улыбкой.

Около барака молча ужинали плотники, усевшись в два кружка, в каждом – по женщине.

Ущелье зарастало мглюю; становясь всё гуще и теплее, мгла размягчала склоны гор, камни как будто пухли, слива-

ясь в сплошную массу синеватой черноты; в глубине ущелье уже сплошь залилось ею, крутые склоны его оплыли и сомкнулись. Всё вокруг таяло, неуловимо быстро выравниваясь в единое-огромное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.